

Я взглянул на часы — массивный командирский брегет, болтавшийся на моем узком запястье. Я купил его у Гошки, соседа по парте, разбив копилку о дверной косяк. Целый час мы выстраивали полки из медяков, а, расплатившись, я отдал приятно и альбом с марками, ведь часы, как выяснилось, еще и светились в темноте.

— Хочешь секрет? — загнал меня Гошка в кладовую и, выключив свет, поднес «командирские» циферблатом к моим глазам. — Гляди, как горят.

— Ага...

— А почему, знаешь?

— Батарейки?

— Балда... Плавники это. Удильщика глубоководного. Их в Марианской впадине по пальцам пересчитать.

— Подумаешь, — сказал я, прикидывая, во что мне обойдется эта вещица.

Но то было год назад. А сегодня я был полноправным хозяином луковицы — водостойкой, небьющейся, с гравировкой «СССР» на нержавеющей корпусе.

Стрелки указывали на пять утра.

Тихо, как вор, я стянул шорты со спинки стула и, натягивая их и пританцовывая на одной ноге, подошел к окну.

Утро едва теплилось, но даже в этой грохочущей синеве я видел, как пляшет моя грудь — впалая, как у дистрофика — и в ужасе подумал: «А что, если я умру? А что если и сердечко мое вот так же пустится в бега?»

Холод половик обжег мои пятки. Я подумал, что было бы глупо простудиться в такой день. Но больше, чем свалиться с температурой, я боялся, что мысль о «драконе» выскользнет из моей головы и покатится по комнате, гремя и подпрыгивая, как пятак. Я знал, что трезвон разбудит мать, и что, заспанная, неумытая, со свалывшимися волосами, она обрушит на мой остриженный лоб свою натруженную руку. Вот тогда все коту под хвост.

Вот тогда-то душа моя и предстанет перед ее суровым взором ворохом наспешенных страниц. Все, что я впишу в этот блокнот, все мои каракули, мать расшифрует и пронумерует. Она прочтет меня от корки до корки. Она узнает все о побеге, который я затеял, и о доме в тени старых лип, куда цыгане привезут «дракона» этим майским утром, и где меня напрасно будут ждать грузчики.

Я знал, что, если мать посадит меня под замок, пяткам моим не сверкать у дома тетушки, когда «дракона» станут поднимать лебедками на второй этаж. И тогда — пиши пропало! И тогда мне не увидеть, как цыгане, чертыхаясь, впихнут

«трехпалого» в окно, не услышать проклятий, которыми «лежебока» станет сыпать при каждой царапине на его чешуе.

Я стоял у двери ни жив ни мертв, боясь, что мысль, оброненная мной, поднимет на ноги весь квартал. Но мать даже не пошевелилась, когда, взобравшись на табурет, я стянул с гвоздя ключ и вставил его бороздкой в замочную скважину.

В шесте я выбежал из дома. А без четверти семь «КамАЗ» с «рептилией» нагнал меня у ворот парка, куда я юркнул, чтобы срезать путь.

Мы двигались ноздря в ноздю.

Но, то ли от недосыпа (всю ночь я таращился на часы), то ли от немощи (весной я туго соображал), оказавшись в глухом уголке парка, я впал в ступор. Я не знал: метаться ли мне в поисках выхода или упасть ничком в траву, пока бодрый милицейский пес не уткнется холодным, шершавым носом в мое лицо.

Страх, однако, придал мне сил. Я стал плутать. А когда озябший, с разбитыми в кровь коленками, я очутился наконец у особняка в тени старых лип, хвост ящера уже торчал из балкона, как вымазанный в чернике язык, которым гигант, казалось, дразнил меня за нерасторопность.

Подойдя к дому, я заревел: громко, протяжно, точно баржа, севшая на мель.

— Юрка! Ты, что ли? — я увидел на балконе силуэт тети Шуры, обрамленный слепящим светом, а спустя минуту, загорелая, сияющая, она сидела передо мной на корточках.

— Уже внесли? — спросил я сквозь слезы.

— Уже, — ответила она. — Такой нам тут цирк устроил, проказник, что и не передать.

Тут тетушка крепко обняла меня, всхлипывающего и шмыгающего носом, и я почувствовал жар от ее плеч, квадратных и сутулых, какие бывают только у пловчих, бравших золото в юности.

— Ну, хватит, хватит, — с упреком сказала она. — Мне тут расплатиться нужно. Люди ждут. А ты дуй-ка домой. К мамке. А вечером приходите. На смотрины. Я такой пирог испеку.

Я с недоверием уставился на нее. Тетушка улыбнулась, а затем насупилась, но не взаправду, а понарошку.

— Ну, так ждть тебя, друг мой, или нет? — спросила она сухо, выждав паузу.

— Ждать, — я кивнул.

Домой я летел, как на крыльях. А, домчавшись, выложил все, как есть, матери. И про КамАЗ. И про «трехпалого». И про смотрины.

Мать слушала молча, нервно вздыхая при каждой подробности, которыми я расцвечивал свой рассказ. К полудню она вся извелась. А в три, несмотря на обеденный час, мы оба стали ломиться в обитую кожей дверь с узким медным окошечком для газет. Открыла сама хозяйка. Без парика и перстней, сжимавших ее убитые артритом пальцы, тетя Шура была похожа на осыпавшуюся елку, порывевшую, с остатками конфетти, которую воткнули в мартовский сугроб. Закрыв на цепочку дверь, она попеняла матери за «набег», который уж точно сократит жизнь каждому, ведь хуже, чем внезапный визит, может быть только смерть, — вот уж кому плевать на приличия. Затем она молча проводила нас на кухню, где за обеденным столом, облепив его, как осы головку меда, сидели, нахмурившись, дядя Рубен и три мои кузины.

Покончив с супом, я выбежал из-за стола. «Гад» томился в гостиной. Я вошел. Я хотел лишь приголубить эту «тварь».

Но тут дверь распахнула Женька: «Стейнвей» был куплен ей. Впрок куплен. Чтобы завидовали.

В белом платье, с алыми бантами в косичках, наглядка преградила мне путь к роялю. А потом буркнула:

— Чул, не лапать!

Прижимистость была их семейной чертой. Обычно меня выдворяли из всех шести комнат, чтобы уберечь от праздного любопытства, которому, как считалось, я был подвержен. И верно, я во все совал свой нос. Но интерес мой к миру был философским. Я познавал Мир на ощупь. Я клал Мир на зуб, а, распробовав, терял к нему интерес. Вот и сейчас, войдя в гостиную, я лишь хотел почувствовать кожей музыку: а зачем еще, спрашивается, нужны клавиши, как не для пальцев, на кончиках которых мелодия вьет свои гнезда и даже выводит птенцов?

Я сделал шаг к роялю.

— Стой! — Женька вперила в меня взгляд, острый, как коготок птички, которым охотница выковыривает личинок из-под коры дуба. — Ты куда это соблался?

— Туда, — я выкинул вперед руку, как Наполеон, вззирающий на Москву с Воробьевых гор.

— Глупый ты, Юлка! — наглядка топнула, да так громко, что в чешском серванте задребезжал сервиз. — А есе — дулак!

— Это почему же?

— Да потому! — разбойница ткнула меня пальчиком, да так яростно, точно хотела проделать во мне дыру. — И вообще, — продолжила, — сколо тебя в интелнат сдадут. Для силоток. Там питание тлехлазовое. И лезым...

Она уперла ручки в бока.

— Не «лезым», а режим, — поправил я сестрицу. — Только врешь ты все, Женька.

— А вот и не влу, — тут сорока прильнула своими влажными, пахнущими карамелью губками к моему уху и произнесла заговорщицким тоном: — Мамка твоя муза себе подыскивает. Не пьюсего. А ты месаес.

Дверь с шумом распахнулась. Мы обернулись. Па пороге, скрестив на груди руки, стояли обе наши мамы. Загорелая, поджарая, как прогорклый корж — тетушка. Пухленькая, рябая, как булочка с кунжутом — мать.

— Ну-ка, мелочь, — тетушка отвесила подзатыльник дочери, — марш на кухню тарелки мыть.

— Нет уж, пусть договорит, — возразила мать. — Хочу послушать, чему ты, сестра, учишь моих племянниц.

— Прекрати, Варвара! — тетушка зажала плачущей Женьке рот, чтобы та не сболтнула лишнего.

— И верно, пора уж прекратить, — мать схватила меня под локоть и поволокла в коридор. — Ноги моей больше не будет в доме, где только и речи, что о деньгах.

Она наспех одела меня, долго искала носки, но, не найдя, вывела меня из дома в сандалиях на босу ногу.

— Взбалмошная! — тетушка швырнула нам с балкона носки. Но мать тащила меня за руку, не оглядываясь, точно буксир, снявший баржу с мелководья.

Месяц мы не общались. Мать ждала извинений. Но телефон молчал. Мать даже отнесла его в мастерскую в надежде вправить вывихнутый сустав или наложить шину на сломанную кость, — виновницу семейных склок. Но тетушка, похоже, и не собиралась звонить. Так прошел еще месяц. А к концу третьего, бодрая, розовощекая, мать внесла в нашу узкую, как пенал, комнатку продолговатый футляр.

— Вот, держи, — она открыла футляр, достала из алой бархатки скрипочку и протянула мне. — Концерты давать будешь. По радио. А там, глядишь, и в телевизор попадешь. Хочешь, Юрка, в телевизор?

Тут мать рухнула в соломенное кресло, жесткое, обтянутое белым чехлом, и сказала, смахнув слезу: — Ведь для чего-то же я рожала тебя в муках.

С «мук», собственно, все и началось. Мои беды, я хотел сказать. Ведь школа, куда определила меня мать, ютилась в каком-то цеху, и очень скоро в раздевалку, где я стоял у поюпитра, стали навеваться литейщики в просаленных бушлатах и с цигарками в зубах.

Мрачный и сырой, с окнами, забранными решетками, класс напоминал камеру инквизиции, в которую нас, первоклашек, на Пасху водили учителя.

Два раза в неделю я спускался в этот полуподвал, где меня «поджаривали на сковороде, поливая маслом до хрустящей корочки».

Пытка была поручена бесу с длинным птичьим носом и родинкой на левой щеке.

При одном голосе этого тирана — высоком, как милицейский свисток, — я терял дар речи. Казалось, этого он только и добивался. Ведь, войдя в раж, почувствовав власть над учеником, деспот прохаживался смычком по моим ладоням, а потом называл «ёлопом», что на львовском диалекте означало «болван».

А чтобы тупость моя была очевидной и для матери, палач велел мне вызвать Концерт Ридинга, который и стал моей плахой. И в самом деле, всякий раз, приходя на экзекуцию, я лишался части собственного «я», как приговоренный к четвертованию — руки или ноги.

Я лез из кожи вон, чтобы угодить мучителю: часами простаивал у поюпитра, пел ноты, как пономарь, и даже скособочился (левое плечо выше, правое ниже), но скрипка, похоже, лишь смеялась в моих руках. К тому же, Ридинг, о чем бес говорил, ядовито улыбаясь, только и делал, что «переворачивался в гробу», и мне даже стало казаться, что дух композитора вот-вот восстанет из ада, — а куда еще, думал я, попадают мучители детей, как не в самое пекло?!

Я был жалок. Я таял на глазах. И однажды, ужаснувшись, мать просто выцганила меня у «Носатого», чтобы привести к «Виртуозу», который «уж точно знал, как развить слух».

Это был высокий русский в твидовом пальто и широкополой шляпе, с длинными, как у Паганини, пальцами. Одет щеголь был с иголочки, ходил циркульным шагом и поминутно заглядывал в мои глаза, точно отыскивая в них искру божью.

Но Бог, похоже, слепил меня из муки грубого помола, в которую не кладут серебряных монеток и которую не присыпают сахарной пудрой. К тому же, узкие, как у мурзы, щелки мои покрывала поволока, сотканная из горя. Скрипку я ненавидел люто. А еще я верил, что Бог, которого нет и которого выдумали, наверняка протянет мне руку — стоит попросить.

Случай представился. Предстоял концерт, на котором решался вопрос о моем переводе в следующий класс. Начал я с того, что не вступил, когда, сыграв «увертюру», пианист с копной седых, как у Листа, волос тупо уставился на меня. Он повторил «зачин», кивая мне каждый такт, точно протезист, вложивший костыли в мои слабеющие руки. Я вступил, но пока добирался до середины пьесы, раз десять сфальшивил, взяв на полтона ниже там, где следовало взять выше.

Казалось, я должен был сгореть от стыда, но не тут-то было. С каким-то дявольским удовольствием я провел целым смычком там, где требовалась половина, сыграл вместо восьмушек шестнадцатые, бемолям предпочел дизезы, и вообще — камня на камне не оставил от мелодии. Я был в ударе. Ноты срывались с моего смычка, как перезрелые, забродившие сливы. О, что тут началось! Зал загудел, как потревоженный улей. А один сердобольный старичок даже предложил «прервать детоубийство», — ведь нельзя же, в самом деле, наслаждаться муками ребенка! Этот аргумент, однако, лишь раззадорил меня. Я почувствовал власть над публикой. Я ощущал себя матадором с мулетой в руке. Я вонзал шпагу в бьющееся сердце

Ридинга, не оставляя его концерту ни единого шанса. Я ликовал. И было от чего: наконец-то я взмылил лошадку по имени «Месь», то пуская ее галопом, то рысью, то иноходью. Куражась, я выискивал глазами «Виртуоза», чтобы прочесть на его бледном лице ужас, который и должен был, по моему замыслу, послужить мне ключом к свободе. Я узнал его по рукам. Он сидел на последнем ряду, залепив лицо длинными, как у Паганини, пальцами.

Издав предсмертный хрип, музыка умерла. В ту же секунду публика разом выдохнула, точно пассажиры автобуса, увернувшегося от грузовика.

Первым вскочил «Виртуоз». Отлепив от лица пальцы — точно сбросив с головы осьминога — он решительно подошел к матери и, сложив молитвенно ладони, заикаясь, потребовал «перестать му-учить музыку!» «Да и ребенка, — добавил он, тряся высоко поднятым пальцем, — тоже не мешало бы по-о-жалеть!»

Мать уменьшалась на глазах с каждым его «добрым» советом, и, казалось, еще минута, и она растворится в воздухе. Но, выплеснув все, что у него накопело, выговорившись, «Виртуоз» сбежал.

Домой мы возвращались молча. А, войдя в дом, также молча, не поужинав, легли спать. Утром, всплакнув, мать отправилась в школу, чтобы забрать документы. Я молча смотрел ей вслед. Бедная, несчастная «Ма». Я хотел даже зареветь, чтобы не чувствовать себя уж слишком счастливым, и чтобы никто не догадался, на какие хитрости я пустился, чтобы вернуть себе детство. Но слезы упрямилились. Слезы не желали выкатываться. А вот сердечко мое звенело. И было от чего звенеть. Я не должен был больше зубрить урок, разбираться в легато и стаккато, пиликать назло родне, получая горсть мелочи в награду. А еще я перестал чувствовать боль в пальцах, изрезанных струнами. Но, главное — я был избавлен от муштры! Навсегда! Навеки!

Этим бы все и закончилось, если бы не одно «но». Утерев нос скрипке, заткнув музыку за пояс, я стал тосковать по своим обидчицам. Да, представьте. Я испытывал фантомные боли, как солдат, вернувшийся с войны без обеих ног. Правда, сегодня, спустя годы, я не склонен себя оправдывать. Я не был талантлив, чего греха таить. А еще я не любил музыку. Не любил и не знал. Не знал, что за призьнь, которую к ней питаешь, музыка не сулит ни наград, ни воздаяния, ни мзды. Ничего, что могло бы нас утешить. Музыка безответна — вот что так мучает нас и что повергает нас в уныние. И если музыка что и бросает нам, как кость, так это крохи, которые гений забыл смахнуть со стола. Но я был слишком голоден, чтобы хранить их долго. И крошки, оставленные кем-то на столе, я всегда собирал в кулачок, чтобы сунуть в рот.

